

Дмитрий Фурманов

Морские берега



Дмитрий Андреевич Фурманов

Морские берега

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5684234

Аннотация

Очерки созданы после пребывания Фурманова на юге, на Кавказском побережье, летом 1925 года (июнь – июль). Как всегда, писатель не расставался с дневником и заносил в него свои свежие впечатления. Работая над очерками, Фурманов делает основательный отбор фактов, чтобы выявить наиболее существенное в изображаемых явлениях. На первый план он выдвигает приметы нового, людей труда. Очерки Фурманов обрабатывал особенно старательно, неоднократно их исправлял. «Я на этих очерках пробовал себя, – заявляет писатель. – И увидел, что могу, что ушел вперед, вырос».

А. М. Горький, прочитав книгу «Морские берега», присланную ему в Сорренто А.Н. Фурмановой, дал очеркам высокую оценку.

Содержание

Лунин	4
Путь	14
Мацеста	27
Адлер	37
Гагры	46
Батум	52
Афон	65
Примечания	78

**Дмитрий Андреевич
Фурманов**
Морские берега
(Художественные очерки)

Лунин

У каждого есть своя светлая точка в году, и каждый ту точку любит, любит и ждет, когда ей черед, когда она в черную непогоду выглянет близко-близко, словно маяк на молу. У каждого разные точки. Уж как же любо после крепкого годового труда отдохнуть враспяжку. Это тоже точка. Мы долго ждали своего череду, своей точки. И ждали не напрасно: кучей катим на Черное море, в горную глухую Мацесту. В вагоне веселья и вранья – аж лампы тухнут. Перезнакомились все промеж себя с первого перегона. Настроенье высочайшее. Надеждам – конца не видать. Что-то и люди кругом будто стали получше, словно и солнышко греет теплее, словно и грудь дышит легче, ядреней, свежей. И так охота поговорить, кому-то что-то пересказать, так охота послушать новых людей, с которыми никогда, никогда не знался, которые должны сказать тебе что-то такое, чего не слышал никогда.

Ну, и ясное дело, – главный разговор сбивался на Мацесту.

– Окаймленная глухими горами, – рассказывал некто в чесучовой рубашке, – брошенная глубоко на дно ущелья – Мацеста представляет собою род пещеры в горных тайниках...

Мы слушали с придушенным дыханьем.

– Тысячелетние дебри лесов, – продолжала чесуча с торжественным пафосом, – изобилуют редчайшими породами деревьев, таких деревьев, которых уже нет ныне и в Южной Америке; на горных лугах, в тучах поднебесных, пасутся стада диких коз, скачут легкие рогатые бараны, в темной тихой чаше прорычит на заре леопард, железными клыками черный колючий кабан проложит сквозь заросль свою дорогу...

Публика тесно сбилась в нашем купе – слушали чесучового не только курортники, слушали и просто пассажиры, едущие всяк на свою потребу; слушали комсомолки, торопившиеся шумно в подшефную волость, слушали проводники с казенными козырьками...

– Из недр этих нетронутых гор, – говорила чесуча, – возле самой Мацесты на высоте двух тысяч метров пробиваются в скалах и вырываются злыми водопадами серные источники; они по скалам кидаются вниз и образуют здесь соленое серное озеро – в этом озере купаются больные, там будете купаться и вы...

Рассказчик смолк и обвел всех насыщенным, торжествующим взором; впечатленье достигнуто было потрясающее –

молчанием надо было его усилить до восторга.

– Товарищ, позвольте – какое такое озеро, там же ванны?

– Ну да, ванны, а я что говорю, – не смутился ничуть чесучовый рассказчик. Он слегка поправил ворот рубашки, подергал этак небрежно подбородком и сказал: – Так вот, я не закончил: из этого озера... из этого дикого озера целебная вода идет по ваннам...

В эту минуту кто-то вдруг пронзительно взвизгнул. Глядь, пыльная старушонка замахала беспомощно руками и кинулась к соседнему окну. Мы за нею повскакали враз и увидели, как в пролете окошка, словно хищная птица, мелькнуло что-то огромное и темное...

– Полушалок-то... Полушалок мой, господи!

Поезд разогнал веселый ход, густо рычали сердитые рельсы, зудели горласто скрипучие колеса, наш засуматошенный вагон быстро убежал от бабкиного полушалка. И забесилась глупая тревога, зашумела беспокойная, скандальная суета, выползли из нор тяжелые охи-вздохи, заскакали чертенятами проклятья ловкому вору, что на ходу выхватывает крючьями полушалки словно шалую рыбку где-нибудь на тихой заводи Оки.

Так и ша: полушалка словно не бывало! Ну, и известное дело, – забыли вмиг чесучового мацестинского враля, только скользнул безразлично чей-то колючий сухой вопрос:

– А вы давно из Мацесты?

– Я, собственно, сам-то и не был, но...

– Не был? А врал как ладно! – прихлопнул чесучу бесстрастный собеседник.

Раздавил рассказчика тяжелый приговор. Пятком-пятком, с оглядкой да с ухмылкой уполз он, посрамленный, из нашего купе.

Разговор побежал, зашумел, засуетился вокруг вагонного воровства, ловкости и проворного лукавства вагонного жулья.

– Вот же недалеко ходить, – молвил некий почтительный дядя, – с нами, как есть, случилась быль. Едем на пролете у города Ростову. Только с вечеру и басни было: украдут на ночь аль нет?.. И приспособиться-де надо ухранить добро... Говорили это говорили, да и заснули на том... Спим, ан глядь – часа через два криком кричит сосед, – чемодан, иш... За ним другой – и тому чемодан... А третьему мешок оставили, фотографией, што ли, стеклом был набит, тяжелой: поволокли до середки, бросили, взамен стекла хоть бы щиблеты, и те утянули, – вот до чего шпана! Моя сумка под головой целехонька лежит... Ну, как встал поезд при деле – завертели с фонарем, да по крыше шарить, да в колесах аль по ящикам ловить – да где же его сыщешь, сатану, – на то и в плутах зовется, чтоб концы в воду.

– Вот так раз... Ну и ну... О-го, – поддержали кругом рассказчика. – Дак как же это все-то вы враз сдрейфили?

Дядя раздумчиво очесался и молвил глухо, словно каясь:
– Усыпили, дьяволы!

– Усыпили?

– А то как – явственное дело – сон. Можно заснуть всем по себе?

– Ну, и так-таки никто ничего не слышал?

– Да нет, как будто... тово, чего-то я...

– То есть чего же?

– Да будто лез кто ко мне. И лезет, вроде как спрашивает: чемодан-то тяжелый, мол, дядя?

– Ну?

– Ну и ну, тут, видать, и конец: ни рукой, ни ногой – мертв лежу, в усыпление... А сосед, что босой: и я, говорит, чего-то вроде... в горле будто першило с духу гнилого и тошнота будто... Ну же – усыпление!.. Беспременное усыпление...

По лицам слушавших, как мошкара по воде, скользили недоверчиво улыбки. Дядя осмотрелся сурово и тихо, под нос себе, закончил:

– Не то усыпить – вовсе сгубить могут... Из носу украдут, и не чихнешь – вот до чего подлецы охочи.

Красноперая смешливая комсомолка брякнула дяде.

– Что ж, – говорит, – интересного у вас из носу украсть? Одна неприятность...

Купе вздрогнуло от хохота. Полушалая старушка метнулась от стрекачей, почтительный дядя пробурчал что-то глухо и смущенно и тоже оттерся в сторону, на месте осталась зеленая смешливая молодежь. И сам собою перебил, переломился разговор: забыли враз старушкин полушалок, за-

были дядю, говорившего про чемоданы в носу, застрекотали про иное, кто во что горазд:

– Первый раз городского в деревне навсегда со смешком встретят... А что ж тебе от того смешка: перемоги, – значит, дурак, коли сразу не понял.

– ...А у нас только и было, что три пионера...

– Дрались бабы, не то што... а нынче...

– Никакого многополья! Никакого! А агроному зубы было выбили прочь... Мало ли што! Теперь погляди... То-то!.. В шесть рядов нагородил... Пол-избы поди: тут себе и по землеустройству... Ленин стоит... тыща томов!

– Не кооператив, говорю, дворец на селе!

Зашумел, зазвенел молодой разговор про советскую деревню: про цвет-надежду крестьянскую, про галчат-пионеров, про комсомольских петухов, про темных деревенских баб, что порют ребят, пугаются ячейки, не пускают дочек в город на отраву, про сельские кооперативы, артели, про коммуну, про урожай... Гляжу я на них, красноголовых комсомолок, думаю:

«А про что, девушки, ехали – говорили бы вы десяток годов назад? В какую тугую сеть запутаны были бы ваши мозги? Как по-иному работали бы ваши мысли. Эх, комсомолки, счастливое вы племя!»

Мы стоим у окна. Говорит Гаврила Лукич:

– Я тридцать семь годов на «Большевике» молочу, всю свою жизнь, могу заявить, ремеслу своему подарил. А жил

весь век все одно как пес... не то што там удовольствие жизни... Да и где же я думать мог, чтобы вдруг на Сочи? Наш хозяин, как есть, кажан год там катался, это правильно! А что же касасемо нашего брата, мы только слушали про господскую эту Сочи... Гм... Накосся, на курорт! Вот оно што выходит, коли власть-то своя...

На желтых морщинистых щеках, по сухим губам Гаврилы Лукича пробилась из глубины широкая ровная улыбка и осветила все лицо. Он стоял такой высокий и сутулый, даже теперь, в жару, не снявший ни кожаной тужурки, ни комиссарского черного картуза, – стоя у окна, сосал черную вонючую трубку и улыбался своим мыслям, своим словам.

– Один едешь?

– Я-то? Какой один! Нас тут, почитай, два вагона набузили: с одного «Большевика» сорок три элемента.

– Эго здорово!

– А то нет? – подхватил Лукич. – Теперь сорок три, да опять сорок три... да целое лето шугать: весь завод, надоть, лечить будут... Ладно уж псами в закутках быть – не все злому аспиду, и нам пожить охота!

Он осанисто поднял голову, распрямил сутулые плечи и, наивно, по-детски моргая подслеповатыми глазами, пытался отразить на лице своем достоинство, гордое достоинство человека, узнавшего себе настоящую цену.

Я чувствовал в голосе Гаврилы Лукича торжественную, все выше, выше нараставшую ноту; что-то булькало и вздра-

гивало у него в горле, словно душил изнутри его страшный напор, то забивая наглухо речь, то раскатывая ее переливчатым улюлюкающим горохом, то вдруг вышибая высокими, резкими, гордыми выкриками. Лицо Лукича озарилось, как у ребенка, темные глаза стали светлы от восторга, пропали морщины с желтого длинного лица, и лицо стало прекрасно, омолодилось внутренней молоджавостью, ядреной свежестью всего его существа.

– Тридцать лет не замечали, злые аспиды, что скот, что человек маялся в трудной доле... Мог ли я думать, ждал ли я когда, чтобы сам директор – теперешний, не тот, – чтобы подошел он ко мне, как бы ты вот стоишь, подошел да сказал: «Долга твоя жизнь, Гаврила Лукич... Велик твой труд, Гаврила Лукич... А радости в жизни не знал ты, товарищ. Так вот за работу твою долгую да честную – мы, все рабочие завода, дарим тебе орден!..» Вот он... орден!

И Гаврила Лукич распахнул кожаную тужурку. На груди его широкой сочной печатью красовался орден Трудового Знамени. Замер на минутку Лукич, глядел остановившимся, невидящим взглядом в пустое окно, пока разглядывали мы его орден, и сказал тихо и поучительно:

– Эта железка – тьфу! А вот уваженье да память обо мне – эт-то да! Ведь целый завод в собраньи стоял, бабы аж плакали, смотреть нельзя, когда подошли это ко мне все мои товарищи да ручкужимают, да целовать меня стали, а сами, гляжу, опять же плачут с радости... Как я вынул тогда руку

из кармана, поднял ее кверху, вот так, чтобы над самой головой, и говорю: «Верно, товарищи, будто всю жизнь я жил как пес непригодный... Верно, что семейство мое (семеро!) тоже, окромя горя, не знало жизни... А теперь такой вышел момент на роду моем, что заметили, добром помянули меня... не все жить по-собачьи: шабаш! От этого дня, говорю вам крепко-накрепко: коли меня в пример да работу мою на показ ценить, как и нельзя бы оно лучше, а я наддам, наддам паров на работу свою: это вам мое слово!»

– Оценить человека – большое дело, – говорю ему.

– Ну, как же не большое, коли работа весело идет! Я што ж, по себе – я за жалованьем, к примеру, большим не гонюсь, мне денег много – куды их? А вот ребят троих – учут; а вот бабе на родах – опять же помощь какая ни есть. Чего мне – уехал теперь, и горя мало: на месяц шесть им червяков оставил да в кооперативе кредиту на три червячка... Себе взял три: плохо? То-то и оно.

Потом разговор перешел на производство, – тут Гаврила Лукич как рыба в воде. Шутка ли, аэропланы готовить! Вдавался он во все тонкости, в мельчайшие детали своего производства, а я стоял и серьезно, вдумчиво слушал про эти коленчатые машины, про цилиндры, поршни, винтики, стержни, рычаги, шестеренки...

Вся эта мудрая гамма в смутных образах плыла перед моим воображением подобно многоцветному сонму туч, изнутри озаренных солнцем; вся эта мудрая гамма знаний была

живой, родной и близкой действительностью для самого Лукича, была неотторжимой частью его самого.

Познакомился близко я и с другими ребятами с «Большевика», – вместе мы ехали почти до Сочи, – там где-то, около, у них совхоз. Мы, помню, расставались с печалью, мы искренне заверяли друг друга, что не раз приедем, что будем часто видеться, что тут близко... Но после не видались ни разу, – у каждого жизнь пошла своим чередом. Ну, как ты поправился, Гаврила Лукич? Встряхнул ли силами, что «злые аспиды» выматывали из тебя, высасывали долгих тридцать годов! Мой привет тебе с этих строк, кавалер трудового ордена, Гаврила Лукич!

Путь

Мы мчим по Украине. Ядрены золотые хлебные поля – в этом году ждут урожая, как ни в одном из прошлых.

Бескрайны заросли ржи и пшеницы, бесстрастны и строги густые кукурузные дебри, мягки и нежны желтые простыни сочной гречихи, залиты солнцем тучные, пестро цветущие луга Украины. Нет кругом конца зеленеющим просторам, теряется, вязнет взор в пунцовых паутинах горизонта. В чистых, высветленных солнцем поселках играет легкая праздничная суета, и на лету, из вагонного окошка кажется, будто и жизнь-то вся там такая же солнечная, веселая, легкая: труда и горя людского не разглядишь из вагонного окна, – труд, чтоб почувствовать, надо взвалить себе на горб, а горю надо пристально взглянуть в глаза – только тогда их поймешь как надо.

Сидели крестьяне-мужички, охали, вздыхали, что трудно с налогами; сидели женщины-крестьянки, вздыхали о трудном хозяйстве, о большой семье – мал-мала меньше, говорили про дорогую одежду-обувку, про засол грибов, про скорую картошку, капусту, про жниво, про удой... И сквозь эти тусклые жалобы-тревоги быстро и смело, как утренний луч, скользнет вдруг какая-нибудь остроглазая мысль про избу-читальню, про беседы там по хозяйству, юркнет весть о комсомоле, упадет цветочком алым пионерский знак, – это

строится новая Украина, новая советская деревня.

И от птиц комсомольских, от пионерских алых цветов – расправляются глубокие морщины на крестьянском челе, веселеет взгляд, есть на что ему глянуть, есть чего ему ждать.

Бежал, все бежал шумный поезд в зеленых, солнцем облитых просторах. Белым голубем мелькнула деревушка, солнце играло бликами по бледным скрижальям; около деревушки на тихом, пустом лугу отдыхало ленивое сытое стадо... Вдруг поезд стал.

– Человека задавили! – крикнул кто-то.

Мы бежали туда, где с носилками стояли люди.

Они повернулись, ушли пустые, говорили промеж себя:

– Раз головы нет, чего и на носилки брать...

– В деревню возьмут... Без головы не лечут...

Дело было очень просто.

Мальчуган-пастушок из этой солнцем высветленной деревушки под зноем разомлел и уснул, уткнувшись на холодные освежающие рельсы. Ему напрочь оттяпало голову – на пути осталось только жалкое обезглавленное туловище, и казалось, что он все продолжал еще спать крепким сладким сном, съежившись жалким комочком, вогнув худые короткие ручонки под живот.

Скупое постояли над трупиком босого, оборванного, замыганного пастушонка и ушли. Уж настоящими слезами над ним поплачет обезумевшая с горя мать, – побежали сказать ей про беду в ту самую светлую деревушку, где из ва-

гонного окошка на ходу видишь только легкую и радостную человеческую жизнь.

Паровоз набрался духу, запыхтел недовольно и сердито, бесстрастно побежав по полям и лугам, а окровавленный безголовый труп пастушонка остался лежать среди душистых, воздухом и солнцем залитых зеленей.

Были в Ростове. Помню я этот мрачный, скучный город по 1921 году. Узнать ли клоаку, центр всяких эпидемий, где на вокзале неделями больные люди ждали каких-то и кем-то назначенных очередей, спали вссыпную на грязных и скользких каменных плитах, потом бежали к бесконечно долгим лентам людским и долго в них стояли, ждали, бранились, дрожали от гнева, от холода, с горя. И снова возвращались, удрученные, ко вшивым своим лохмотьям где-нибудь в вокзальном углу или просто на большой вокзальной дороге, посреди полу, где лихо расхаркиваются на стороны терпкие плевки, где матерная брань в воздухе повисла, как над падалью голодный вой...

Люди ждали – не дожидались, ждали и умирали в тифу, в кровавой дизентерии, умирали с голоду, от истощенья, с безвыходной мертвой тоски.

И сам город стоял тогда знойный и серый от едкой пыли, смугло-черный от угля, неумытый, разоренный недавними кровавыми боями, стоял разрушенный, злой и неприветный. С Кубани в центр гнали хлебные эшелоны – центр совершал тогда первые шаги великого исторического поворота (Ильич

уж сказал свое мудрое слово!); центр запасался хлебом, чтобы уход с разверстки к налогу не положил на лопатки измочаленную, усталую, голодную страну.

Разбитая и раздерганная магистраль героически выдерживала страстный напор транспортов, напор, продиктованный смертельной нуждой; стальная магистраль пути только-только начинала думать в те дни о возрождении – возродиться еще не начинала. И Ростову, такому чуткому центру огромного раненого организма, надо было выполнить небывалой важности и величия историческую миссию, надо было помочь стать на ноги быстро и крепко нашей стране. Шли на север тугие эшелоны кубанской пшеницы, с севера шли составы иваново-вознесенского ситца, – и до этих ли было очередей на станциях и полустанках, до этих ли отдельных, стократ несчастных, застрявших по дырам людей, когда на карту поставлена была жизнь всего советского организма!

Привет тебе, чумазый от пыли и копоты город, привет твоему рабочему люду, что в тяжелую годину вынес на себе непосильную историческую ношу!

За Ростовом кубанские равнины: ни гор, ни лесов, – только развернут до горизонта – и к морю и к подножью гор – зеленый ковер. В этой житнице – миллионы пудов зерна, эта житница ставит советский мир так крепко на ноги перед хищным заморским рынком! На Кубань всегда с ожиданием смотрят и белый Запад и золотой Восток: мы оттуда ждем урожайной укрепы, враг ждет своего: нашей неудачи. По Ку-

бани, по этим вот сырым полям, по камышовым зарослям, среди плавней и лиманов – давно ли, давно ли перестали рыскать бандитские орды, наводя смертный ужас на крестьянина, на работника, казака? Давно ли Врангель под властной рукой талантливого Улагая выплюнул сюда свой десант, давно ли подкатывал тот десант под сердце беременной невзгодами Кубани, давно ли? И помню, как встрепенулась, ошестинилась она штыками, как светлая голова и железная рука Левандовского собрала в кулак живую силу Кубани и треснула по лбу с размаху мучителя. Он ляпнулся в море, – там ему и могила.

Многострадальные кубанские равнины! Слышим мы теперь и знаем, как в эти четыре мирных года разгрызли вы тугой советский орех, как трудом-трудом-трудом, бескрайними сочными пашнями, избами-читальнями, советской школой – как вы показали свое нутро.

В Армавире ночью. Красоты горные начнутся только на заре, от Белореченской, и там уж до самого моря, до Туапсе. Теперь спать! Но краток и чуток сон: чуть ударился бледным туманом рассвет – мы повскакали. В распахнутые пади окон жирно вливался свежий воздух гор. С непривычки первое время треплет дрожь. Но какая ж красота кругом! По горным склонам, насколько хватит взора, зеленой шершавой щетиной уплывают громады лесов. В этих кавказских лесах до сих пор есть места, где не ступала еще никогда челове-

ческая нога: в этих лесах любимый приют сердитого черного медведя, много тут кабанов, много всякой лютой и нелютой живности, а в горах – дорогой руды. Справа только горы, и на кручах гор – чернеющие спины бескрайних лесов, слева – прозрачная черная речка, странно легкая, гибкая, тихоструйная, – такие редко бывают в горах. И вспомнил я, как по Грузинской дороге, недалеко от Дарьяльского ущелья, несется горная река Кистинка. Та мчится с бешеным, с грозным воем, вся седая, как мыльная пена, срывает камни по пути, ревет исступленно, словно раненый зверь – далеко слышать ее по ущелью. А эта тихая, будто монашка, – видно, вышла она не сдалека, не свысока.

По пути встречаются мелкие станциешки, они, подобно серым птичьим гнездам, прицепились на скалах, и дивом дивишься: как только висят, не повалятся? Ехали зеленью, горными шумами, дремучими лесами, то опускаясь, то подымаясь, откручивая дорогу сюда и туда. И вспомнил я иные месяцы, иные дни – они еще так недавни, так свежи в нашей цепкой памяти! Глухой конец восемнадцатого года. По голодному, обглоданному пути, с Новороссийска, через горные перевалы вот сюда, на это шоссе, на эти вот тропки выходила многострадальная Таманская армия. Передней колонной командовал Епифан Ковтюх. У Крв-тюха железная воля, у бойцов ковтюховских каменная рука и соколиный глаз, но у врага так много английских пулеметов! За колоннами бойцов тянулись сотни подвод и в тех подводах сидели бой-

цовы старики и старухи, сидели жены, крошки дети: все уходили с родной Кубани в безвестную даль. Шли голодными, иссохшими горами, питались горной ягодой да хищной казацкой пулей, но впереди шел крепкой поступью командир Епифан Ковтюх, и за ним колонна грудью прокладывала себе путь под английскими пулеметами, с ножами и бомбами, штурмовала врага, губила его губительные атаки.

Вот здесь... по этим самым тропкам... Где вы теперь, соколы-таманцы? Много ль вас осталось в живых? Пашете пашню поди на родной Тамани, да теплым тихим вечером, когда за морем спустится багровое солнце, рассказываете детям, как восемь лет назад в глухие осенние месяцы шли вы по мертвому Черноморью, лбом и сердцем ловили казачью пулю, шли каменным неумолимым ходом за каменной фигурой своего могучего вождя Епифана Ковтюха!

Синей птицей в прореху гор нырнуло море. Мы близко к Туапсе. И лишь только завидели, заволновались театрально, самые тихие впали в козлиный восторг.

– Море! Ах, море! Вот оно, море! Ничто я не люблю так, как море!

– Кашу больше любишь поди, – заметил спокойно Гаврила Лукич. И все рассмеялись. Тогда он добавил еще вразумительней:

– Вода и вода, нешто соленая только... Вода бывает и в кадушке... Ну, слов нет, тут побольше... А по делу глядеть – одно и то же!

Словно ушатом ледяной воды обдал он своими едкими словами восторженных козлят. Деланный пафос утишился, говорили проще, без пыли в глаза.

– Видал я море, – рассказывал Гаврила Лукич. – Очень видал и даже всяко: потише и в штормы – ну, всяко... А скушно!.. Минуты на три хватило моих радостей, а то нет: скушно. Вот на Волге у нас, – сам я оттуда, – это вот – что надо, там год сиди у воды не емши, и то не скушно... Да вообще... и горы эти, как погляжу – только что сразу, а то...

Гаврила Лукич недовольно отмахнулся.

– То ли дело в лесу у нас, положим... Н... ну, уж... Это, что называется, сущая красота, а тут... эх!

Приехали в Туапсе. Поезда ждать два часа. Сегодня воскресенье, по воскресеньям здесь базар: айда, ребята, на базар! И вот мы толкаемся среди лотков с живой камбалой, среди ящичков сушеной рыбы, лавчонок, где навалена грудой всякая снедь, повешаны цветные восточные платки, где так много фруктов, сладостей, словом – базар, как все восточные базары: сладкопряный, душистый и многоцветный. Впрочем, мелок, и какому-нибудь ташкентскому, самаркандскому – во внуки под стать!

Солнце сладко топит уличный жир. Такая тут терпкая духота, такая горячая, сжигающая атмосфера. Мы в гору пробираемся, к центру города, находим там «европейскую» парикмахерскую, а парикмахером в ней... бывший полковник! Преудивительное дело! Впрочем – на Кавказе всего насмот-

ришься. Лазили, лазили, воротились на вокзал: скоро уходил сочинский поезд. Кураг-то (то есть курортный агент) в шапке с красным околышем, по всем видимостям имел от кого-то строгий наказ с большими не браниться: уж как мы его не теребили, как ни бранили, как ни прищипливали по разным случаям – нет, молчит, окаянный, ничем его не проймешь, милягу. Подали поезд, вагончики в нем воздушные, открытые, на манер дачных, что ли.

– Много ли ехать?

– Да верст восемьдесят, не больше.

Ну, думаем, часа через два-три на месте. То-то думали: ползли ни много ни мало... девять часов! Впрочем, администрация тутошняя заверяла нас, что недельки через две дороге сладят, закрепят, и тогда путь будет вдвое короче: на целых четыре часа. Но нам-то что до того: это ж еще через две недели! Не ждать же тут, пока ее сладят, сердешную! Ехали долго, это верно, но ехали вовсе не скучно: народ в вагончик набился веселый, грохнули песню, за песней другую, потом сказки, анекдоты тарабарили, потом подъедали оголодавшие у кого что осталось, на остановках выскакивали оживленной оравой, скупали там пирожки, разную сладкую снедь, пили квас, молоко: у кого на что хватало духу и денег.

Едем все время берегом моря: справа водное темно-синее лоно, слева горы. Какой-то чудак долго пристально смотрел по морю в бинокль, наконец оторвал глаза, протер, вздохнул и молвил:

– Ей-богу, вижу.

– Что? – спросил его сосед.

– Да Константинополь, ей-бо!

Мы все переглянулись, хотели ощупать парню затылок, а потом кто-то отшутился:

– Не трожьте... Он вовсе парень ничего, только... только хворает острым расстройством характера...

Посмеялись да кстати отняли у «турка» бинокль, чтоб не высматривал турецкие секреты.

Ехала с нами пожилая фельдшерица, надо быть, из-под Харькова – куда-то к родной сестрице, что около Сочи торговала цветами. Было этой фельдшерице только тридцать четыре года, а вся кругом седая, как писчая бумага. Стряслась с ней в жизни беда: четыре года назад потеряла любимого мужа, потеряла ребенка, обоих разом в тифу. И обезумела с горя, побелела. Не знаем, такая ль она уродилась или горе-тоска ее так отработали, – только странная была эта фельдшерица: наивно-ласковая, до смешного нежная и предупредительная, доброта ее и кротость смахивали на легкое помешательство. Надо ли соли кому, ложку достать или что другое – она кидалась к своему чемоданчику, быстро-быстро его распаковывала, доставала что надо, с ласковой тихой улыбкой подавала. Стоял ли кто-нибудь в дверях – она торопливо подходила, словно опасаясь, что другой кто-то может подойти еще раньше, предупредить ее; подходила к стоявшему, начинала уговаривать его, чтобы сел, предлагала свое место,

приговаривая:

– А вы сядьте, сядьте...

– Да сидите же вы сами! – бормотал тот смущенно.

– Я – ничего, постою, постою я... Садитесь, пожалуйста, – мне и постоять можно – что такое я...

И она уничижительно, смущенно улыбалась. Вот эта-то фельдшерица и затеяла с питерскими рабочими несносный разговор.

– Товарищи рабочие!.. Товарищи рабочие! – тараторила она, и от этих сладеньких слов всем делалось неловко. – Вы, товарищи рабочие, там на заводе у себя аэропланы строите?

– Аэропланы.

– Чтобы защищать Советскую республику, а?

– Надо быть так, – отвечал ей нехотя рябой, высокий парнюга.

– Отстаивать будете свои советы? – словно по букварю бубнила фельдшерица... – Правильно: вы же их и добыли мозолистыми руками...

Ежились рабочие к окошку, чувствовали острую неловкость, не знали, что ей сказать на этот приторный, сахарный сироп. Фельдшерица испортила, затуманила было на время общее веселье, но нашелся умный человек, спас положение:

– А это вы не читали?

И хлопнул с ладони на ладонь тем самым кавказским путеводителем, где столь много небылиц наплетено про Мацесту и про иные милые места.

– Что такое? – встрепенулась фельдшерица.

– А вы вот посмотрите, – и подбросил ей книжонку.

Она впилась. Оборвалась ненужная, сладенькая брехня, – мы грянули «Славное море, священный Байкал»!..

А вот и Сочи! Вот и новый сочинский «кураг» с красным околышем; без дальних слов мы держим путь на него. И не напрасно: кураг усаживает нас в авто, авто катит нас в «Ривьеру» – это, можно сказать, первоклассная гостиница на морском берегу: неплохо скроена и крепко сшита! Около «Ривьеры» и наш регистратор: только через эти врата можно пройти в мацестинский рай: иного нет у нас пути, в руках у нас путевка! Постояли в очередях, как водится, побранились. Да и как не браниться: на этакую ораву больных посадили одну разнесчастную девушку; она попугаисто вопрошала: имя? отчество? фамилия? лет? И пошло – пошло – поехало. Часа четыре ждешь – стоишь, – одну-то!

В регистратуре милый седенький старичок полазил мне добродушно по груди и заявил чревовещательно:

– Н-да... надо лечиться!

– Seriously? – спрашиваю, удивленный его открытием.

– Ничего серьезного...

– В чем же дело?

– Лечиться надо, – подтвердил он убежденно.

Я не стал его дальше терзать праздными расспросами – старичок уж крепко стар, да и вряд ли слышит толком все мои слова, потом ведь у него, как и у нас, могут быть, ах, эти

нервы-нервы-нервы!

Я сообщил только ему приятельски и громко:

– Вопрос ясен: надо лечиться!

Он сочувственно кивнул мне головой – видимо, расслышал сказанное – и мы дружественно расстались. Конечно, завтра утром на Мацесту!

Ночью шумело море. Луна баловалась на волнах, сверкала по воде оловянными бликами. Падала широкими серебряными простынями, тонкой сверкающей лентой уходила куда-то далеко-далеко в морскую черную темь. Плескались волны о камни, камни тихо шуршали по пляжу. На берегу нет никого: в последних шумах засыпает «Ривьера». В такой красоте хорошо посидеть на пляже, пока не рассмотришь его на свету, пока не узнаешь, что весь-то, весь он, бедняга, проплеван на два километра вглубь! Сидел я, любовался лунными шутками и думал: как же, должно быть, теперь хорошо на Оке или на Талке-реке, где шумит за спиной не «Ривьера», а наш ядреный сосновый бор!

Мацеста

От Сочи на Мацесту ходят авто: огромные, удобные автобусы. Свежие курортники ночуют здесь в прекрасном, чистом, светлом здании – в распределителе. Дом – в саду, в густом пахучем раю, где в зелени так много птиц, а сквозь зелень так сочно голубое небо. Чуть проснулся день, – один за другим подплывают авто, проглатывают горстку за горсткой ласковую шуршащую толпу и аллеями, мимо каменной «Ривьеры», катят по Сочи. Сочи легок и тонок и чист, как цветной сартянский шарф, в Сочи много воздуха и солнца, в Сочи шум от морского гортанного клекота ударяется в говор пахучих магнолий, и в безмолвные южные ночи над спящим городком стоит янтарная тихая музыка. Пыльны дни, когда суета в разгаре, но не испытать блаженного, строгого утра, не надышаться, не налюбоваться свежими, остуженными вечерами, когда расплываются крепкие, щекочущие запахи, когда отдыхает городок от забот дня.

Бежит гигантский, грузный, груженный до края авто, и содрогается жутко дряхлый мост, – седая старина, вояка, державший на хребту своем десятки десятков тысяч и белых и красных войск. Теперь, говорят, сняли ему старую шершавую кожу, вделали крепкие кости, омолодили старика: не узнать! Бежит, бежит авто по широким солнечным улицам, мимо садов и скверов, мимо открытых лотков, где так мно-

го спелых абрикосов, пунцовых, как ранние девичьи щеки, много персиков, истекающих знойным соком, словно зрелым желаньем от девичьих губ. Там впереди, где уходит на гору гладкое, просторное шоссе, – там кончится Сочи, и помчит авто мимо старейших санаториев, мимо богатейших, великолепнейших дач изгнанных баронов, угробленных банкиров, покойных господ – теперь в этих дачах лечат рабочих: каково, знать!

Путь до Мацесты – двенадцать верст: двенадцать верст незабываемых первых впечатлений, когда от восхищенья замирает дух.

Есть две Мацесты – Старая и Новая. Мы на Старую, а Новую видим только на перепутье. Источники серные на Старой, а сюда, в ванны, воду подают трубами. И весь путь по большому шоссе и по горным тропкам – все идут, и едут, и идут, словно паломники, на серные ванны: это те, что лечатся помимо санаториев. Ползут из ближних и дальних дач, из домов отдыха, из отдельных квартир, из глухих аулов, с гор, – спускаются в черных мохнатых папахах, черных бурках горцы, сверкают спелыми маслинами глаз, то на конях, то пешие пробираются на Мацесту и там, где-нибудь в тени, выстаивают часами, ждут свою очередь. Далеко кругом знают целебную силу мацестинских вод. Уж давным-давно дикие горцы почитали как священные эти серные источники и ходили на поклон неведомому духу, что в этих вот серых скалах и темных пещерах, где бегут серные струи, – оплодо-

творял живительной силой священные воды Мацесты.

Бежит, все бежит авто, минуя дачи, санатории, мелкие домишки поселян, обгоняет путников, кружит по скатанным излучинам шоссе, а шоссе и гнется и вьется, срезается неожиданными срывами на морскую зыбь, всекается в стойкие стены чащи, то вдруг затеряется в темной пасти лесов, то вспыхнет сквозь зелень глянцами, как обнаженная прелесть загорелой здоровой груди – в зеленых глазах тихого моря.

За тупым углом скалы – дорога круто вверх. Справа – в зелени горы, слева – бесшумная голубоглазая Мацестинка. Не верьте кротким заводям светлых девичьих глаз – горские девушки знают страсть, которая испепеляет сердце.

Не верьте голубой тихоструйной Мацестинке – в горные ливни сносит она мосты, сцапывает, как муху, грузного, тупого, могучего быка, крутит его в пучине. Напруженная страстью и силами, мчится она, победоносная и гордая, смело и щедро плещет мутные волны на скалы, на эти скалы, что смотрятся гордо теперь в ее покорные, чуть звенящие голубые глаза.

В запахи гор, лесов и трав вдруг ворвалась чужая, острая волна. Вмиг в ладонях скрылись лица, веселым невысмеянным смехом вспыхнули глаза. Мы глянули вниз. В светлые воды Мацестинки впивались серные струи, и ложе реки было бледно: выела едучая сера замшелую покатость дна.

Улыбнулись приветливо сквозь иглы колючих сосен белые, легкие стройки, вскрикнул приветно авто на последней

аллее и с бурлящим, сдержанным ревом всплыл в распахнутые ворота Мацестинского парка: стоп!

Недоверчиво, сомкнуто держимся кучкой в чужом потоке «курболов» – курортных больных; на завтра мы сами, влившись в этот поток, станем глазеть на приехавший новый авто, откуда сползет так же подозрительно новая горстка людей.

Тащат вещи санитары, как белые кошечки, обнюхивают нас ласковые сестры; глядят в упор спокойными серьезными глазами молодые врачи. Мы смелеем.

В приемной держат мало, разводят по белым кельям-комнаткам: начинается санаторное житье.

День за днем – новые люди, день за днем крепнут силы, вырастаешь, как дерево в землю, – в эту новую жизнь, и в ней, как во всякой жизни, свои тревоги, свои радости: жизни бесстрастной нет нигде, про нее только зря говорят врачи Санупра. В этих радостях-тревогах обрастаешь друзьями, а то и недругами; какую-то неведомой силой расшибаются или сплачиваются в грудки люди, и каждая грудка живет своей особой жизнью: смыкаются в целом потоке только на общих походах, да и тут не всегда.

В Мацесте два санаторных корпуса: главный на горе – этот стоит, как белый замок, и в вечеру, когда горит в огнях, виден издалека; второй корпус – на речке, внизу, зовется Кулешевкой, а прозывается Лягушевкой – вечерами там стоном стоит лягушечий крик.

День санаторный, что деньги в купецкой мошне, – сосчи-

тан точно: каждому часу свое назначение, каждый час на ответе. Утром, в семь, на ногах. А дальше – весь день, через час, через два – трамбуешь шипящий протестом живот: кормежка на зиму. В семь – на ногах и – опрометью к ваннам. Там висит заповедный листочек: очередь на купанье. Были молодцы, страдавшие бессонницей, прибегали сюда чуть не с солнцем, чтоб только побить рекорд, записаться первому. Бывали и споры, бывало и чуть не в драку: нервные – один ответ! Рассыпались по зелени парка, ютились по скамейкам, отсиживались по ступенькам – ждали сестрицу с карандашом, с билетиками. А когда приходила, штурмовали лихо.

– Мне деревянную. Ой, сестрица, мне врач прописал деревянную!

Происходили споры, скандальчики, и тут сестрицу всячески околпачивали, устраивали всевозможные шахер-махеры, надували, ласкали, припугивали. А всего и спору из-за того, что ванна деревянная подлиннее других на пару-другую вершков. Чудны, господи, дела твои на этом свете – не знаю, как на том!

В ванне сидишь – чистая лафа. Из ванны вылезешь – багров, как свекла. После ванны два часа отдыхать (плоховато на этот счет – первый из сотни, каюсь, грешник: редко отдыхал).

Сказать надо правду: многое к концу переменялось, нравы ушли вперед, пропал и заповедный листочек, крепко вправили и нас, сердешных, в санаторную оправу. И мы не то

что браниться – благодарили, курболу всегда приятна плетка, и чем она жестче, тем он ее больше хвалит.

Посиди вот тут на приступках – посмотри, кто идет по ваннам, что за народ.

Эти вот шестеро – донцы из рудников, они полжизни живут под землей, они в восемнадцатом били Каледина, в девятнадцатом отбивали Деникина, теперь они бьются за высокую продукцию. Прислепы в щелках мутные глаза, сух хруст в трескучих коленях, бледно-серы, словно заспаны, истомленные лица: думают месяцем вытравить то, что копилось десятками лет – недуги.

Вот этот, что на костылях, еще вовсе молод: тридцать четыре года! Ты дал ему пятьдесят? Ну что ж: посиди и ты восемь лет в сырой одиночке, вынеси эти тупые жандармские побои, голодай пятнадцать дней и снова, все снова целые годы распинайся на скользком полу тюрьмы... Посмотри на эту сморщенную, как гриб, клохчущую глухо старушку: ткачиха, кажется, с Орехово-Зуева, сорок лет журчит на производстве! А эти, видишь: вон бьется в вечной судороге рука, после ран и контузий она в параличе; вон голова мотается словно игрушечная, – над ней в бою грохнул снаряд; или этот, с блуждающим дико, опустошенным взором: его по горло зарыло землей; или вот что в кресле, у него иссыхают ноги: он потерял их в мокрых окопах, в осеннюю стужу. Встань и поклонись им: это мученики, чьими силами и чьей кровью жива советская земля! То на полях Украины сража-

лись с немцем, с Махно, то на Белом море брали на мушку английское коршунье, то по Сибири гнали Колчака. И куда ни глянь – все это рать бойцов – ткачи, горняки, литейщики, батраки из деревень, мученики польских застенков: что человек – то целая книга!

И дивные совершаются дела: на глазах у тебя выползают калеки из кресел, костыльники бросают свои костыли, наливаются жизнью, здоровьем хилые человеческие скелеты.

Не разгадана еще сила мацестинских вод, бьется над этой тайной много больших заботных голов, но и то, что добыто острой мыслью, – служит великую службу человеку.

Мацеста кругом в горах – потому в ней так тихи, безветренны дни, величавы покорные горные ночи. Здесь ни удушья, ни зноя – здесь над ущельем ходят легкие волны горных дышаний, целомудренно чистых, как дыхание младенца.

По голубому, глубокому небу любят легкие пушинки облаков сплетаться в кружевные хороводы, и те хороводы низко парят над горами, целуя влажным поцелуем густые зеленые кудри лесов.

– Ишь денек какой выдался осторожный... Метко сказано: эту сонную прохладу как же назвать иначе?

– Товарищи, а ну на Орлиную гору!

– Как на Орлиную? Мы же после обеда... мертвый час...

Над чудачком-новичком посмеялись, объяснили ему, что послеобеденные часы потому и мертвыми зовутся, что в санатории мертво, нет ни души по кроватям.

(Ох, ушло и это времечко: дознались врачи, нарушили нашу волю!)

Долги ли сборы, мы через пять минут на ходу. Как только из дверей санаторных – в гору, в лес. И поплывет, развиваясь, дорожка, то собачонкой подобострастной визжит и юлит под ногами, то строгой стрелой взлетает вверх: сухая, точная, неразговорчивая. Густы леса Мацесты, много в них тени и влаги, соком густым исходит тучная зелень. Слева, совсем бы, казалось, рядом – гора Ахун: она владычица всех вершин, она лесистым скатом держит крен до самого моря.

Вверх, вверх, все вверх тонкой и легкой ладьей уплывает тропа. Уж потны груди, дыханье часто, сердце колотится: чит-чит-чит! А так бы хотелось скорей до цели. Лежит по пути сваленный в бурю гигантский бук: ранила молния в самое сердце красавца гор, и он повалился, ударом сраженный, ударился оземь хребтом, пропаленным насквозь, и вот все хилеет, хилеет, гниет на глазах у цветущих собратьев, проеденный червями в сердце, иссохший в труху.

На этом покойнике мы отдыхаем, копим силы, смирняем сердца и снова, теперь уж до самой горы, шагаем, подобны паломникам, настойчивым, медленным ходом. И вот на скале: за этот ствол возьми руками, голову в пропасть чуть запрокинь и увидишь там где-то, в черном зияющем дне – темно-зеленый просвет дикого озера.

Из острых расщелин скал водопад гневно срывается в пропасть, и шум его горным раскатным эхом доносится к

нам наверх, на скалу. Слеты и срывы гор заросли одичалой хвоей; хвойная заросль тёмным пятном пропадает в глушь бездонной пропасти, без птиц – молчаливая.

Мы вырываем булыжник, дружным усилием толкаем вниз, затаим вздох и долго, долго слышим, как мчит он на дно и скачет, минуя уступ за уступом, все тише, тише, тише – пока не замрет гул, пропавший в песнях водопада. Потом мы на каменных плитах и на этих стволах, что над пропастью свисли, чертим каждый любимое имя. И когда насытится сердце красотой – благодарные, счастливые, усталые, – той же горной тропой возвращаемся к дому.

Уж вечер. Пало лиловыми тенями небо на зеленый шатер. Остывает медленно жизнь, прилипают к ветвям птицы, ложится зверь: один ложится, другой, полуночник, точит тонкие когти о звонкие зубы. Наливаются сонным туманом небесные очи – скроются скоро они за темные своды ночных ресниц, а на высоком и ясном челе небесном проступит в мерцанье золото звезд, окропится янтарными брызгами строгий, холодный свод.

За большими столами стучит домино, шелкают карты, чмокают шашки, и тихо опасным шахматным полем пробирается глупая, тупая тура.

У рояля густо сбились певцы, хор собирали наспех, пели не очень складно, но сердце измучено было немало в печальных мелодиях песен Украины, много попорчено крови на буйстве наурской лезгинки, выпито много истомы в рус-

ской раздольной песне.

Нежно и ласково байковой темной шалью укутала ночь обнаженное тело земли.

Спит Мацеста. А над ней, в высоте, над вершинами спящих гор, под янтарным шатром небес проплывала с открытым взором южная ночь.

Адлер

Такая рань: только три. В комнате тишь. По стенам и по полу татью крадутся бледные робкие руки рассвета. Мы освежили лица студеной водой и легонько, на цыпках, коридором проплыли к дверям, отомкнули бесшумно и вышли на холодный благоуханный воздух горного утра.

Ароматная, густая и пряная отстоялась за ночь тишина.

Молчали легионы лягушек, открывав полуночные песни. Молчали птицы, омытые росным холодом. Молчали люди, скованные сном. Солнце дремало в синих лесах, за горами. И мы молчим, словно словом боимся разрушить этот прозрачный покой. По влажной зеленой тропе, по потной дороге, по берегу грустной речки – идем к морю. И когда подошли – по спокойной зыби, как по лугу зеленому, дрожало радостью за ночь иззябшее солнце. На безлюдном песчаном берегу светло и пусто. Море чуть слышно глубоко вздыхает набухшей зелеными соками грудью.

Далек и строго прочерчен овал горизонта. Сиротливо в водной пустыне застыло на якоре одинокое серое судно.

Восходит солнце. Пунцовая дрожь кинулась в небо и, отраженная, опала в волны: море вспыхнуло алой рябью. По берегу моря на Хосту проложена ветка – ходит по ветке легкий открытый вагончик. Сегодня праздничный день, и народу на Хосту торопится много. Вагончик этот – словно рези-

новый, то сжимается, то раздается, – весь секрет, как видно, в настроенье вожака. Сегодня вожатый весел – и народу набито в два раза против обычного. Ах, лучше бы не был ты весел, вожатый: негде сесть!

Дорога до Хосты – по берегу моря, в зелени, около гор. В Хосте, как слезешь, надо протопать целую версту до станции – там остановка авто, идущих на Адлер, на Гагры, на тихие горы Красной Поляны.

Держим мы здесь и свою столовку-чайнушку для приезжающих. Казалось бы, что ж: только кланяться надо, спасибо сказать за такую заботу? Нет, вы лучше зайдите, нюхните да гляньте: холодная, скользкая грязь и мрак, словно в забытом, насквозь, до щелей прокопченном сарае.

– Чаю можно?

– Нет, через час.

– Хлеба можно?

– Нет, через час.

Друг за дружкой, очередь в очередь, подходили приезжие, задавали буфетному тот же вопрос, получали один ответ. И вспыхнул, как фейерверк, гнев: какого же черта к сроку нет?

Рядом, в двадцати шагах, чуточное частное заведение: чисто, уютно, светло. Там достали – и чай, и хлеб, и яйца! Мы от едкой обиды, от гневной, бессильной злости, от стыда – готовы были впрах разнести гнусную чайнушку: э-эх, преступное ротозейство! Так-то – долго не вырасти, долго не выкузмить частную торговлю!

Облизавшись от вкусного «частного» завтрака и сплюнув зло на частную торговлю, побежали на пункт, где в гневном рычанье дрожал отходивший авто – он торопился на Адлер.

Рядом сидит, смугл и строг, юноша горец. Юношу звать Айба. Переплавило солнце кровь у Айбы в потоки расплавленной бронзы. Вместо глаз природа Айбе подарила пару маслин из афонских садов. Мелкие дружные кольца кудрей на лоб бежали, словно черные струи густых сосновых смол. На груди у Айбы увидел я кимовский знак. Я узнал, что раньше Айба жил в Сухуме, – теперь он живет в горах, – что отец у Айбы был муша (он разорвал себе сердце под кладью и умер в трюме), в Сухуме Айба обучился русской речи.

– Трудно здесь, в горах, комсомолу, – сказал Айба. – Уж не говорить про обычаи дедов, про старый устой – сама природа мешает: попробуй ты на собранье куда-нибудь крыть через горы, эв-ва, концов не видать! Наши поселки один от другого, что тучка от тучки, раскиданы врозь. Места эти трудные, темные, глухие. Кругом по горам и тишь и мрак, а в той тишине чернеют наши гнезда. И нельзя нам оттого собраться вместе – работаем всяк по себе, на глаз. А где работа, среди кого? Как поглуше ущелья взять – там совсем дикари, не тронуты там вековые суеверья, там за малую обиду – пускают в ход кинжалы и ножи. Смотрят на нас не то что врагами, этого нет, но просто не могут понять, как надо (темны, темны горные люди!), что мы такое, комсомол и партия, зачем и о чем собираемся мы говорить, какие наши цели... Объяс-

нить? Нет, тут объяснять не надо, это почти бесполезно. Вот делом себя показать – это да! И это, пожалуй, единственная здесь дорога, пока народ так темен и дик...

Спокойно и строго глядели черные глаза Айбы. Не было в словах у него ни ребячьего задора, ни игры в таинственные рассказы про горные чудеса, не было и затверженной, мертвой схемки, которую где-то вычитал, где-то узнал случайно. Нет, Айба смотрел таким умным и понимающим взором, что ясно было: накрепко знает парень, что говорит!

– Вон, посмотри, – и он обернулся легко назад, – дойди-ка до Хосты, посиди на собрание!

Мы обернулись за ним и увидели далеко под город разбросанные домики Хосты. Дорога все время в горы и чертит такие тут кренделя, что какую-нибудь небольшую вершинку видишь и сяк и так, со всех сторон, словно вертишь ее, как шарик, у себя перед глазами.

Первые версты дорога тряска – Айба пояснил нам, что скоро станут править ее и здесь, как уже правят по разным иным местам. Но лишь только развернется чистое и ровное гагринское шоссе: очарование! Без встрясок – легко и плавно шуршит авто тугими шинами, глотает аппетитно версту за верстой. Сумрачно-прекрасны, крепки богатырской силой – стоят кудрявые гигантские дубы; оловом отливают гладкие стволы чистого, прочного бука; зеленит, смеется, шелестит со всех сторон, как девушка-хохотушка, бузина, – на глазах у солнца, у моря – обнимается, бесстыдная, с веселым гиб-

ким кизилом. Недвижны и важны, словно затянуты в тонкий изящный костюм, остроглавые кипарисы; откуда-то с гор, может, вот с этих мелькающих дачных садов, доносятся чуткому обонянию ароматные нежные вздохи магнолий. Воздух насыщен то чуть уловимыми, то густыми и терпкими запахами трав и цветов. А тут еще – соленое крепкое дыхание моря; вон оно, море, глянь-ка: то и дело повертывается темно-зелеными шумящими полянами сквозь побережную стену кизиловых-бузиновых зарослей!

– Слушай, Айба: ты вот сказал, что не словом, а делом тут надо работать с горцами... Ну, а какие, к примеру, дела ты мог бы нам рассказать?

Айба ответил не сразу. Он осторожно в памяти отбирал такое, что надо сказать.

– Никаких особых дел и нет, – ответил он, подумав. – Наши дела те самые, что с утра до ночи малыми заботками тревожат горца. Были такие поселки, где ставили на собраниях большущие вопросы, – и на те собрания никто не приходил. А те, что были там, – спали. Большие вопросы надо, видно, по-большому и рассказывать. В нашем селенье мы – по-другому. Всего на поселке нас семь человек. А народу находит двести, а то и больше. Отчего? Да все потому, что говорим про такое, что каждому близко и знакомо: как ходить за скотом, как за кукурузой, говорим про табак, насчет посева, роста и сборов, говорим про хлеб, про домашнее хозяйство, – на эти речи ползет народ, как муравей на мед. А тут, промеж

этих речей, говорим про совхозы, про ученье, о кооперации – что к слову выйдет. И за то нас горцы приходят слушать...

Или вот был случай: засорилась травами, забились западью разной рядом с поселком река – малая речка. И никак не поймут, отчего так народ на болезни стал падок, отчего так много на поселок стало комарья-мошкары лететь. Обошли мы, ребята, речку, оглядели, объяснили, что надо очистить русло, вытащить что там набилось, и пропадет комарье. Долго не верили, слушать не хотели, мы сами тогда в работу пошли, семь человек. И глядь, тишком – один подступил, другой подступил, пособлять стали: очистили начисто ловко речку. И увидели все, что правда наша была. С той поры – что ни день – в комсомол за советом идут, даже хворать зачнут – и то к нам.

Когда по горам ливни идут – сами знаете, какая беда: уносит скот, размывает поля, пропадают табачные плантации, посева кукурузы – все погубит, что встретит вода на пути. В одну из таких-то бед попала горка-вдова с троими ребятами: у нее дотла погибло за ночь хозяйство, все унесли волны; несчастная женщина за ночь стала нищая, потеряла с горя разум – стоял впереди страшный голодный год. Тогда взялись за дело комсомольцы: на сходе выпросили ей какую-то чуточную помощь на первый раз, а дальше, как время пришло, – посеяли ей кукурузу. И, можете поверить, сами горцы плакали, когда видели нашу работу...

Вот это и есть главные наши дела, – закончил Айба. – Они

небольшие, дела эти, а нужные: через них мы того добились, что горцы в комсомол да в ячейку за советом ныне идут...

И мы чувствовали все, что Айба говорит про настоящее дело, что только этой дорогой можно там, в горах, – да, пожалуй, и везде – проложить путь от партии, от комсомола – в темную толщу.

Влево скользнула дорога: а это что ж, куда?

– Это на Гагры пошла... Там же и на Красную Поляну... видишь, туда, к вершинам вьется...

Наша дорога прямо: осталось всего тут две версты. Скоро въезжаем в праздничный, шумный Адлер. По улицам пыль замирает сизыми тучами. По улицам песни и пьяненький гвалт: по случаю праздника весь городок под градусом. Улиц, собственно, тут немного, а вся гулянка сбилась на главной, на одной – той, что идет от базара к морю. Море, что магнит: сколько б ни шатался, ни шумел гуляка – все равно попадет на море, а раз на море попал – штаны долой, купаться. И выходит так, что весь город целый день купается посменно: к морю не разрывается ни на минуту плясовая, пьяненькая вереница. Прошлись и мы, огляделись: со стен комсомольский клуб извещал о собрание; упоминалась какая-то труппа, какая-то пьеса...

Обнявшись, грудно-крикливые и веселые, кучками, толклись на площади. Женщин мало, почти вовсе нет: одиночки только у лавчонок, у кооператива, у домиков. Зашли в столовку, в другую – все подчистую поели гуляки, нет для

нас ничего. Выпучив живот под черной масленой рубашкой, пьяный буфетчик скалил зубы, кричал:

– Мяса весь съел... Хлеба весь съел – хошь вина? Вина можно многа пить, вина еси...

Мы поспешно ушли от столиков, где в смрадной вони бледнели сквозь завесы табачного дыма испитые осклизлые лица завзятых питоков.

Потом приютил нас какой-то сердобольный грек, стал из чуточных чашечек поить ароматным тяжелым турецким кофе: пригубь – и запей холодной водой, пригубь и снова... Пили и важничали – вовсе по-турецки. Вдруг барабанный бой! Да это же идут пионеры! Отряд красношеих ребят действительно показался с угла и быстро колыхал на площадь: это детишки откуда-то из дома отдыха, к ним влилась и местная ребятня. И нам показалось, что пьяный гул по улице смолк, толпы тихо сдвинулись по бокам, раздались надвое, обнажили улицу – быстро, легко подходившему отряду.

Какой восторг! Какой это был восторг! И какая вдруг перемена! И какой контраст с этой пьяной толпой! Отряд, словно победитель сквозь ряды своих пленников, прошел к морю сквозь беспокойные шпалеры сгрудившихся к лавкам гуляк.

И через пять минут, когда мы вышли на пляж, сотни детских головенок чернели на море, плеск и звон и крик над пляжем стоял веселейший.

Дети, дети, знаете ли вы, какой дорогой ценою досталось

вам это право: вместо гнилых и вонючих подвалов – прыгать
летами вот тут, по солнечному пляжу, вместо луж, где смач-
но ворочаются жирные свиньи, – купаться в этом голубом и
теплом море!

Гагры

Гагры – это частичка Абхазской республики. Нам еще где-то в пути сероглазый и шустрый парнишка всучил о Гаграх малую книжонку, – читаем ее, знакомимся:

«...Курорт Гагры обладает теплым, мягким морским климатом, средняя температура года 15[®] С, зимы – 8[®]. Курорт благоустроен, полное отсутствие пыли, инфекционных заболеваний и малярии, обилие солнца, масса озона, чистый морской и горный воздух, морское купанье с прекрасным пляжем... Экскурсии и прогулки: пешком, на лошадях и осликах в горы (альпийские пастбища), на гору Дзытра, Мамздышха, озеро Рица, на водопады, Бзыбское ущелье, историческую Пицунду и в дальнейшие окрестности Гагр, где расположены тысячелетние древние храмы и замки византийского периода... Охота на всякого рода зверей (медведи, кабаны, серны, дикие козы, джейраны, туры, куницы, барсуки и проч.), пернатую дичь... всевозможные кафе, рог изобилия лучших кавказских вин...»

Потом говорится о прекрасных гостиницах, в том числе о Доме отдыха, расположенном в бывшем дворце принца Ольденбургского, о кефире, о фруктах, о кухне «под наблюдением и руководством первоклассных кулинаров».

Говорилось в книжице кой о чем и прочем – всего не перескажешь. Мы ехали в Гагры полные надежд – тех смутных

и милых надежд, что волнуют, когда подступаешь к новому месту.

Автопромторговый ковчег высадил нас на базарной площадке, там, где рядами теснятся одна на другую легкие дощатые лавчушки. На глаз прикинуть – никто, казалось бы, ничего и не покупает, – трется, толчется впустую народ, а шуму столько, что хватит на Смоленский рынок! Из товаров – выбор не ахти богат: груши, яблоки, длинные палочки, слепленные из орехов, скользкие рыжие финики, подернутые плесенью, копченые колбаски, хлебная часть да вино по полкам... Встали посреди – ротозеем. Куда нам идти – не ведаем. Уцепились за первого встречного, вверили судьбу незнакомому дяде: видим, прахом пошла вся наша подготовка – гостиниц под теми названьями, что указаны в книжке, никто не знал, все толковали как-то по-иному.

– Ладно, дядя: веди куда знаешь!

И он повел – сквозь старинные крепостные ворота, мимо каменной пустой часовенки, которой насчитывают полтыщи лет, мимо пионерского лагеря (как вздрогнуло радостное сердце!), повел мимо магазинчиков, где вино, вино и вино по витринам – и довел: из длинного пустынного коридора нырнула к нам юркая фигурка номерщика, сгоняла фигурка нас этажом выше, потом обратно вниз:

– Пожалуйста!

Жалуем: при нас же метелкой начали спешно выметать разный мусор, заходила пыль облаками.

– Да вы что же, черт подери, раньше не могли?!

– Как угодно: можете так оставаться...

И метелку под мышку, хотел уходить.

Поскрипел я зубами, подошел к лиловому умывальнику, подергал рыжий кран – он мне ответно заскрипел ржавым зудом.

– Работает?

– Нет... в ведерке будем носить...

Смолчал я насчет ведерка – наклонился к размочаленной, ободранной кровати, дружелюбно пощипал матрац: глядь – встревоженные клопы сердито побежали в стороны.

– Эй, земляк, не трудись: мы уходим! И, захватив пожитки, – вон.

Рядом нашлось чистое жильё: ну, что ж, первый блин всегда комочком!

Гагры под самыми горами. Горы здесь тучные и черные от густых лесов. Горы здесь высочайшие и хранят от холодных, от гневных бурь селенье, только теплые тихие ветры дышат с моря.

Вечером по взморью фланирует много красивых, отлично одетых ленивых жеребчиков – это бездельники, каких очень много всегда по курортам. Наутро вы их увидите по кафе, у столиков, по садам – они пьют вино, потом играют в нарды, в домино, слоняются от лавки к лавке, нехотя побалтывают, вяло отходят, снова подходят – и так толкаются до тех пор, пока не умятся где-нибудь для праздного и длительного

разговора. Это не дачники, не курбольные, это просто кур-жеребчики.

Вы здесь и тени не сыщете от трудовой Абхазии, она, настоящая, где-то там – по табачным плантациям, у кукурузных полей, на лугах, где пасутся стада, по виноградникам, по мастерским.

Над Гаграми, на скале – прекрасен и грозен – высится замок, он был когда-то собственностью принца Ольденбургского. Теперь там малярная станция, а наверху живут одиночки-жильцы. Чудесное зданье вовсе не использовано, содержится в позорно грязном виде, никому до него нет дела. Как только спустился с лесенок замка – прямо в садок. В садике – круглый серый фонтан, в фонтане плавают черные миноги, трутся о холодеющие черные бутылки вина.

За столиком в саду всегда людно.

Сидели – гуторили, – тишь да гладь, воздух легок, чист и пахуч. И вдруг застлался понизу густой, едучий дым; все всполошилось, – в чем дело? Оказалось, на площади, в центре Гагр, свалены были навозные кучи, отвезти их подальше никто не хотел, тут же торжественно началось и сожжение. Через десять минут Гагры сплошь были в дыму – он набился не только по садам, он задушил все комнаты, стлался до самых гор.

То-то курортнички подышали, сердечные! Помнится, мы заявили протест по начальству, да вряд ли вышло что: ухмыльнулось начальство лукаво.

Есть Старые Гагры, а есть и Новые – до Новых недалеко, что-то верст пяток. Прежде тут ходила конка, путь остался и до сей поры. Конка теперь забедняла, не работает – в Новые Гагры гоняют извозцы. Умостились мы на бархатную, в лоск просиженную пролетку, свесили ножки, – двое к двоим, в разные стороны, сомкнувшись плотно спинами, – покатали жарчайшей, пылейшей дорогой: приехали в Новые Гагры, седые от пыли!

Там шум и суета – все движенье собрано у базара. Важны и чинны, прохаживаются красноголовые милиционеры – отношение к ним отменно почтительное, да и сами они цену себе, видимо, знают: держатся с сочным достоинством.

Идем мы вдоль по говорливому базару – любуемся «картинкой с натуры»: стоит какой-то дядя на дороге, балакает с извозцом, – а высоко на облучке и с высоты, через голову собеседника отшлепывает возница здоровеннейшие, смачные плевки – тот хоть бы сморщился. На эту милую пару, кроме нас, никто, конечно, не обращал вниманья.

В воздухе гам и звон от крика торговцев, от конских бубенцов, пробы кинжалов... Солнце, пыль, жара, человеческий гомон. Новые Гагры победней Старых, главный жизненный нерв не здесь, а там.

И вспомнилась нам эта книжица, где так ладно да гладко рассказано все про Гагры. Вспомнился сероглазый и шустрый парнишка, как бежал он мимо и кликал привычным зычным голосишком:

– Вот они, Гагры, лучший курорт... Всего пятьлтынный...
Возьми, товарищ!

Батум

Когда я в детстве слышал: «Батум!» – в воображение моем дрожали волны светлого пахучего эфира, и тот эфир насквозь прозолочен был тающим южным солнцем; мне рисовалось странное непуганое царство горных покоев, тепла, тишины – забаяканной сказками южной неги; рябило глаза от набухшей в соках ароматной зелени пальм, златошкурных садов апельсиновых, лимоновых ласковых рощ, от янтарного моря... Мне Батум был как люлька младенцу... только бы в ней и качался, закрыв от жизни глаза!

Теперь я вживе, с глазу на глаз, увидел Батум. Был глух и мрачен вечер. Безлунное тучное небо – словно засыпали сажей. В море тьма и шум. Над морем внятное ржанье тревожных волн, по морю гулкий носится свист: ветер море, как плетью, сечет звонким резким дождем. Скука на палубе дохлая, как вымытый жизнью мутный взор старика, люди от сыри жмутся в глухие сухие углы. Пусто. Тоска! Ночь не в ночь, и сон не в сон. В душной дремоте дремлют каюты. По коридорам, у палубы, в рубках придушенно мигают бледно-зеленые лампы полночных огней.

Тянется скучно, тошнотно к рассвету беспутное время.

И когда проползли, словно серые стаи вшей, бесконечные ленты унылых, вялых минут, сказал кто-то голосом, сшитым бессонницей, глядя по-рыбьи из рубки в потную пасть окна:

– Батум!

Я вышел на мокрую людную палубу. Я увидел сквозь мутную сеть дождя робкие, желтые в сумраках утра, не погасшие за ночь огни, увидел черные туши разбухших домов, а на рейде – в туманах – бледные контуры спящих пароходов. Наш истомленный «Игнатий Сергеев» – ржавый сопливый старик – пыхтел и ворочался с шумом по воде, слюняво плевался грязною, серою пеной, щупал в глубинах моря, где бы ладнее стать, кинуть когтистый якорь.

– Так это и есть Батум, тот сказочный город, что плавает в солнечном золоте юга, как легкая мошка в лисьей ржаной шерсти?

И разбитая детская мечта моя пролилась по сердцу, как этот дождь, грязными мутными струйками, собралась и застыла в серых лагунах тоски.

Мимо меня, как шустрый зверенок, шмыгнул юрко Шурка Кержанский. Он быстро и хлопотно в мокреть прошлепал босыми ногами. Я видел вслед, как плотно пристала к костлявому телу Шурки серая дырявая рубашка, чуть скрывая сползшие грузко гнилые штаны.

Шурку Кержанского знает все побережье – он целое лето снует с одного парохода на другой, живя подачками за вольные песни, за трельную музыку на ложках; он не охотник до кратких прогулок – рейсы морские у Шурки не шутка: ныне он треплет в Батум из Одессы.

Вижу по палубе спешно кому-то тащит он вещи. Унес и

снова бежит, торопливо волчком провернулся сквозь цепь завистливых, злых носильщиков, съел, что положено было, пинков и тычков с подзатыльниками – глядь, волочит уж кому-то тугую рябую корзину. Ну, и паренек, молодец! Ловкий добытчик, такому нигде не пропасть. Позже я видел его не раз – и в толпе пароходной, и в толпе городской, по шоссе, по вагонам железных дорог: он всюду мостился, ютился, как клоп, повисал на авто, шаркался мышью летучей по палубе, – значило это, что близок контроль, – пел недоспелым блаженным голосишком песни у входов кафе, подтаскивал вещи на пристань, но с ручкой, как нищий, нигде не стоял.

Он взялся и нам отыскать номерок.

– Сухо и дешево, будет что надо, первый сорт! – бросил он на ходу с небрежным кивком знатока.

Пошли. Заискали. Винтили и так и не так по мокрым панелям, под скул дождя. Казалось, не только Батум, целый мир исхлестали взад и вперед: и «Франция» там, и «Европа», и верный Америки сын – «Нью-Йорк»; выбор – куда там: весь мир под тобой, но – боже мой, боже! – как крепко везде обдирают с приезжего тонкую шкурку... Какой-то чудак толстячок – содержатель гнилых номеров – завел в комнатушку пустую, в хламную, и молвил, улыбочиво тыкая пальцем в углы:

– Здеси угалок будим ти жэна, здеси угалок будем ми жэна, а другой кравать, другой жэна давать приходитти будим...

Мы со скорбью посмотрели ему в лицо, молча и вежливо поклонились, спешно ушли.

И приютились где-то случаем у хлопотливой чистоплотной немочки: она из захламленных грязных конюшен сумела выкроить чистые комнатки: по нашим временам – золото, не женщина! Утерла она ловко чванный нос всем этим заносчивым странам и державам!

Когда мы рыскали по мокрым улицам Батума, видели на каждом углу кучку нуждою обглоданных, лохмотьями прикрытых людей: это муши. Они от ранней зари весь день напролет ловят-ждут случайную работу. Горящими голодными глазами с безмолвным вопросом смотрят вам в лицо, с надеждой следят ваш близкий ход.

И серый липкий дождь, тучное мутное небо, и скорбные муши на перекрестках дорог, и наши первые житейские неудачи – все говорило против Батума.

– Он не тот, не тот, как грезилось в детстве, он вовсе не высветлен золотом южного солнца, и в нем такая же серая мокреть, как в нашей Пензе, в Елатье, в Щиграх!

Вечеру, когда дождь смолк, когда сбивались толпами тени, а солнце никло за морем, глянул Батум своим настоящим, смугло-загарным волнующим лицом. Зловеще и четко чернел совсем близкий в сумраке Зеленый мыс. За Зеленым мысом в горах – целому миру знакомый ботанический сад. Около сада на Чакве – оазис чайных плантаций.

То ли там снежные горы, облака ли молочные пунцовеют

над водной чешуей, на сизом горизонте? По морю ветер вечерний, легкий, как вздох, гонит и плеск к звон, а над бескрайней чернильной ровенью волн – ткутся за мигом миг гуще, плотней – тонкотканые тенета тьмы.

Над дремлющим городом, над лентами черных аллей, к пепельным дальним горам уплывают, прозрачны и легки, благоуханные волны вечерних струй.

С нетемных улиц – к морю, на пляж и обратно, снует неторопливая шелестящая толпа. Глянь по ней, по этим загорелым, здоровым смеющимся лицам, и будешь верить, что в Батуме только свежие, сильные люди.

В этот же час, какой-то иной, не гуляющий у пляжа, Батум засыпает по глухим переулкам, по темным чуланчикам, по беззаконным сараишкам, по клетушкам-комнаткам, где свалено за день в угол лохмотье, где под долгий голый стол заброшен мешок табаку, а к стенке прислонено деревянное корыто – иного убранства нет. Сюда идут спать усталые муши, здесь ночуют газетчики-мальчишки, здесь живут грошевики-торговцы, с рук продающие полфунта табаку; здесь собираются кучно горластые, крикливые детишки, что за день прудят базары, на плечах таскают бутылки воды, громко и резко кричат:

– Соок-су, холодный вода!.. Холод вада – соок-су!

И продают воду по копейке стакан.

Сюда собираются оборвыши, нищие дети, с широкими печальными глазами – они вас за день встречают и провожают

на улицах, следуют за вами неотступно и настойчиво, приклеиваются липко, назойливо – как умеют приклеиваться ребяташки только здесь, под этим солнцем: в Батуме, в Баку, в Эривани, в Тифлисе...

Все покроет южная глухая ночь, и вылудит все под сказку бледный лунный полумрак.

Остынув таинственны и странны, и одинаково прекрасны в сонном трауре ночи – каменные дома центральных улиц и разрушенные хибарки глухих окраин. Тишь над городом – южная. Сны над городом – восточные. Благоуханна и сыта дарами – тихо в горы уходит безмолвная ночь, шурша вуальными шальями, оставляя в асфальтах улиц ароматный влажный след.

Восток просыпается рано – рано встает и юг.

Чуть вздрогнуло солнце за сонной далью – уж звонкой россыпью раскатились улицы-переулки Батума.

Визжат засовчики мелких лавчонок – магазины откроют позже, – хлопают ставни, хлопают двери, греются с посвистом крошки жаровни, где шашлычники с песней мурлычной, крутя вертел на огне, как грешники бесы в господнем аду, станут пропаливать мясо в шашлык; торговцы снуют торопливо-заботно у своих магазинов-лавчонок; осматривают, ошаривают, глядят их с отеческой лаской; по базарным площадям – у лотков, у палаток своя суета предбазарная. Скоро улицами вроссыпь кинутся, словно спущенные с цепи, голо-

систые мальчишки – звонкие вестники нового дня.

– Газит, газит! «Московски Правда»! «Заря Ва-сток»! Турецки, русски, армянски, грузински... га-зи-и-ит!

И тут хоть намертво спи – подымут.

Подымается выше солнце, по светлым беспыльным улицам ширится, никнет зной – его, как ранний дар с голубого неба, глотают зеленые жадные сады Батума, и вместо зноя плывет золотая теплынь.

Пробуждается порт. В порту на рейде маячат пароходы: свои и чужие, из дальних стран.

Скоро жизнь из порта свяжется с уличной жизнью, и целый день, до сумерек вечера – станут грузить, увозить и привозить товары, встречать, провожать пароходы...

По глухо вымощенным улицам заухают тяжкие грузовики, и пригнетса, застонет под ними земля; легкокрылые авто помчат работников к советским корпусам.

В учрежденьях советских гул загудит, как в пчельнике дружном на первый приветный луч: турки и русские, аджарцы и гурийцы, армяне и грузины, евреи и абхазцы. От этой мятежной конницы языков, говоров, наречий вдруг тебе и жутко и радостно крепкой, ядреной радостью.

Со стен лукаво щурятся и дружески смеются раскосые восточные глаза Ильича... на широком картонном полотнище – портреты членов Аджарского Совнаркома, вождей аджарского народа.

Красными сочными буквами – лозунги: «Крепче держи

знамя советской власти!» «Чем крепче хозяйство, тем легче жизнь!» «Больше хозяйских забот, молочнее будет скот!» И слева и справа, со всех сторон, огнями загораются нужные большие слова про жизнь-борьбу. Вон лозунги ячейки МОПР; дальше о клубной работе; о том, что нельзя выбивать редчайших горных туров; о том, как избежать и как бороться с бичом – малярией; о том, как опасна, вредна хозяйству народному самовольная рубка лесов...

Вся горская жизнь, весь труд человеческий смотрит живыми умными глазами со стен советских корпусов... Присядь, незаметный, в углу и послушай молву людскую, сумей ее понять; говор идет все по тем же дорожкам: про стада, про сады-огороды, про кукурузные поля; кто-то серьезный и строгий лицом стрижет и чешет молодую кредитную операцию, кто-то в пушной седой бороде учит, как по полям мышьяком надо травить вредителей, как управляться с дранью в своем хозяйском деле, как на шпагат ловчей и быстрее нанизывать табачные листья...

Женщина, умная, смуглая, как лыко, ищет заступный, родной женотдел, чтоб поведать ему, как по горным углам, на табачных плантациях, где обилен и дешев женский труд, как ширится там голодная проституция, как оскаленной пастью обнажились угрозы зловонной, гнойной венерической мерзости... Куда пойти? Прежде всех и раньше всех – к себе, в женотдел: туда принесет она нерасплесканную обиду и острую боль свою, там начистоту расскажет она про женскую

долю. Жизнь – многообразная, суровая, густая, как горные смолы, собралась она здесь, при совете, налилась до краев, а потом, как насытит и насытится сама, – шумным, торжествующим потоком понесется в горах и ущельях Аджаристана, спадая живою влагой в нищие поселки горцев.

Батум – богатый город. В Батуме по главным улицам жизнь такая же пестрая, шумная, как везде по большим городам. Только манер иной – свой, особенный, южный. Шум – всегда гнездит у торговли. А торговля идет – нейдет, будто она и не главная тут, а подсыпка, шебарша между делом: легко катит навеселе. И вовсе уже особая, ни с чем не схожая полоса в торговле – контрабанда. В Батуме, говорили знатоки, ремеслом этим кормятся... десять тысяч душ! Идите улицами, базарами, площадями батумскими – вас словят, вас станут на каждом шагу окликать какие-то шустрые, ловкие, быстро снующие тени, – людей как будто совсем и нет. Они сторожат у харчевни-столовой, в вагонах железных дорог, по гостиницам, вползают в номер, торчат у всех и всегда на пути, в перекрестках улиц, у витрин магазинных, шнырят-ныряют, как мыши, склизнут, как тати во тьме, шуршат вам на ухо вкрадчивым, хитрым, святым шепотком:

– Контрабанда есть... оч-чень дешево: чулки, шелка, джерсе...

И лишь залучили в сети, – повлекут за собой, завинтят, заюлят переулочками: плут впереди как вожатый, вы – в сотне

шагов позади. Входите в комнату контрабандиста; тут отменный советский порядок, на стенах Ленин... все чин чином. И висят не какие-нибудь по грошу портретишки – первой статьи дорогие работы, в дорогих и тяжелых рамах. Вас встречают учтиво, разговоры ведут дружелюбно, обзывают не иначе как «уважаемый товарищ», а про себя, жулье, небрежно и будто случайно: «Мы, дескать, советские работники»... ух, и дошлый же, тертый народ! Вас оставят чуть-чуть обождать; хозяин, знаете ль, должен сбегать к какому-то Аршаку, Мадани, Хренопуло, там он «займет» товары, которые любви вам: сам спец «не торгует», он вовсе не контрабандист, он делает только по дружбе вам одолжение, не хочет «своему товарищу» отказать. Через пять минут, сверкая во круг воровато зрачками, бежит: за пазухой, в пухлых карманах, в голенищах сапог чего-чего не натискано! Дверь запирают оглядчиво, добро рядами кладут по столу, ласково гладят-гладят-гладят, сладенько чмокают, хвалят, жужжат, как шмели.

Когда «не сошлись» вы в цене – уж поведут обратно другими дворами, по иным переулкам, чтобы спутать с пути и след замести. И все священное действие плутни ползет тишком, шепотком...

Контрабандное дело – опасно и скользко, как глиняный мокрый скат: можно червонцами вспучить мошну, можно за клеть угодить, можно посеять и голову в горных походах – раз не приходит на раз. Сеть контрабандная тонко, сложно

вита – истоки ее в пограничной турецкой полосе. Там гнезда крупных скупщиков. Они готовят партии тончайших дорогих товаров, пакуют их в мешки и гонят караван горами, глухими тропками, которые знакомы только мастерам таинственных походов. Оптовики товаров не везут: их миссия окончена тогда, когда в мешках с рук на руки сбывается товар. Везут груженные мешки горцы – они на этот случай носят при себе не только боевой кинжал – за поясом чернеет дуло пистолета, за плечом дрожит винтовка. В горах советская стража, – она сторожит контрабанду. И часто ночью там совершаются жуткие драмы: контрабандисты народ отчаянный и ловкий, даром в руки не даются. Обмануть недремлющую стражу, хитро и смело провести через трудный путь свой тайный караван – эта опасная игра увлекает контрабандиста, дает ему острое наслаждение, как всякий азартный матч. И вот – караван пришел под Батум – здесь встречают его ловкачи-скупщики, укрыватели, сбытчики, они уж заботиться станут о том, чтобы вся контрабанда попала в липкие лапки тучам мелкой торговой мошкары, что вьется, жужжит по городу. Бывает и так (на первый взгляд совсем потеха!): тот, кто привез товар, сам выдает себя властям, по закону берет полцены советской – мирится на малом доходе. И снова едет, играет жизнью, снова везет и снова сбывает, пока не получит крепкий удар. Когда уж несносно мучит легкая выгода и нет сил отразить соблазн – выдают один другого: продажный народишко, жаден на грош, за деньги друг дружке

режут походя глотку. Рассказывал как-то мне Муджа – дедка-рыбак, будто артель турецких дельцов отправила раз горами большой караван дорогих товаров и вручила все дело одному из своих, именем Бен-Оглы. Он был старый контрабандист. Но он был и старый плут – это знала артель и за Бен-Оглы дослала свой верный глаз. Оглы товар провез без лиха, сбыл его дорого и быстро, а сам себе смастерил документ, будто товар у Оглы отобрала казна. Поехал он, сытый обманом, к своим в артель. Но зоркий глаз следопыта все уследил в игре Бен-Оглы и ранее донес в артель плутам про коварство старого плута Оглы. Седобородые, хитрые, гнев в глубину вогнав, встретили горестно и виду не дали, что знают тайну. А потом повязали веревками накрест, увели побелевшего Бена в горы, скрепили туго с кобыльним хвостом, завязали дикой кобылице глаза и гнали горами к пропасти, хлестали бичами, кололи Оглы – пока не спугнули потную кобылицу в бездонный обрыв.

Мне рассказывал про жизнь контрабандную старый Муджа, когда мы вдвоем с ним были в море.

– Как был и я помоложе, – говорил Муджа, – сам я займался тем делом, да слепнуть стал, отстал... А бедовая она, эта жизнь: так и гляди, что пулю словишь... Мы раньше морем больше ходили, здесь работу вели, – и Муджа обвел кругом костлявой тощей рукою. – А теперь по морю строг стал дозор – горами больше наш брат идет... Э-эх, житье!

И не поймешь – отчего так глубоко и грустно он вздохнул,

старина: то ль жаль ему стало, что слеп и теперь не с руки вести опасную старую жизнь, то ли обида брала, что в море пропала совсем контрабанда, – горами, в сухую пошла...

Старик сидел, сухой и прямой, за длинными веслами легкого ялика, глядел бесстрастно мутными, подслеповатыми глазами в море и молчал.

А море – тихое, гладкое, словно остывшая зеленая лава. Качались на якоре медленно и скучно две огромные серые фелюги. Где-то далеко-далеко, за многие версты, по ровени волн черной точкой, как в поднебесье птица, обозначился пароход. Чайки ныряли над морем, гладкой грудью касаясь светлой волны. Город с моря казался мал и тих. Мы сидели молча – я и Муджа, каждый думал свое, каждый по-своему понимал и любил, что было кругом.

Афон

Афон теперь по-туземному зовется Псырцха, но жители все еще кличут по старой памяти Псырцху Афоном. Звать – как ни зови – это только полдела, а живое, настоящее *дело* в том, что нет больше в Афоне притона святошеского, а на месте притона – огромный цветущий совхоз.

Это уж да, это уж бесспорное дело!

Когда-то на эти места, к монастырским «святыням», со всех сторон и плыли, и шли, и съезжались богомольцы, несли с собою и малые и немалые дары, крепили могущество Афона. Жили в Афоне сотни монахов, кормились щедрым подаванием. Правду сказать – нижайшее монашество и работало вдосталь: сливки спивали только «святые верхи».

Так десятки лет цвел-расцветал Афон. Вырос из жертв богомольческих белый красавец храм: с моря далеко маячит он взору, как белый голубь, запутанный в темных тенетах лесов. И так он построен искусно, что виден открыто и явно разом со всех сторон – играет на солнце, как нежная дорогая игрушка, что взору на отдых вырезал мудрый строитель в дебрях глухой горы. Богомольцев сходились сотни, – они размещались внизу, у моря – там стоит осанистый белый корпус. И каждый пришелец мог жить и кормиться бесплатных четыре дня – на пятый ему говорили добром, на шестой приходил полицейский чин и встряхивал молельщи-

ку забывчивую память.

Те, которых кормили бесплатно, грошишки свои растрясывали иным путем: на свечи, лампадки, молебны, акафисты, на целованье икон, на сборы – поборы монашеские.

И потом, когда уходили, им на память вручался адрес афонский – по этой торной тропе надо было и впредь не лениться слать свои гроши, чтобы воистину связь держать духовную со святым местом.

Главная сила Афона была не в грошах богомольческих – эти гроши лишь на ходу, по привычке сдирались, было зазорно монаху с путника мзду не принять: так и докрасна кровью сытый паук навсегда за стыд для себя почтет живую оставить, нетронутой легкую мошку, дрожащую робко в липких его паутинах. Главная сила Афона была в щедрых дарах богачей-толстосумов, им после чадных ночей по «Стрельням» любо было бесследно пропасть, затеряться на краткий срок в бесшумных и кротких и ласковых тихостью жизни покоях Афона. Они приезжали сюда в покаянных слезах, они проводили здесь ночи и дни, как безвинные агнцы, которых во имя чьих-то чужих и черных грехов ведут на закланье: вставали во тьме, пред зарей, и покорные, трудные клали поклоны, потом монастырскую службу стояли с начала до конца – безмолвные, смиренные духом. И так отбывали господнюю барщину днями, неделями, а там, зарядившись, уезжали к столичным особнякам и, будто из клетей спущенные звери, яростно кидались утолить голодное терпенье.

Эти каяльщики были щедрой сумой, которая сытно питала ненасытную афонскую мошну.

И вот – вдруг и все перевернулось: на месте святейшего притона буйно расцвел совхоз. Сотни рабочих дружно взялись за работу по маслинным садам, в виноградниках, в мастерских. У рабочих вырос свой местком, у месткома – большая веселая работа. В совхозе абхазские большевики, в совхозе ребята-комсомольцы, – их знают далеко в горах, к ним за нуждой идут, за советом, за помощью горцы. В совхозе клуб, и вечерами – посмотри, сколько сидит там народу, липнет к библиотеке или на открытой террасе, за большим столом, за газетами.

Афонский совхоз – культурный центр на широкую горную округу. В Афоне своя отличная мельница, у Афона своя электростанция; совхоз афонский как маленькое царство в советской абхазской стране. Монашью рать распустили по белу свету. Многие осели тут же, по ближним местам, занялись кто чем, иные, говорят, морем уехали на древний Афон, десятка три живет при совхозе, заняты делом, как и все, а сорок человек укрылись от мира в лесную чащу, на дикую Псху-реку, что где-то горами протекает за восемь десятков верст от Афона.

Слышно, там они построили домишки и молятся, постятся в одиночестве, питаются скудным огородным добром и тем, что достанут в горных поселках, что разбросаны в побережьях Псхи.

Был вечер, когда мы приехали в Афон. На морском берегу длинный белый корпус – номера приезжающих (здесь-то и жили ходоки, приходившие в монастырь на богомолье). Подобрали вещишки – вошли в номерной коридор. По коридору медленно и косолапо двигался монах – его можно было опознать издали по соломенной несуразной и широченнейшей шляпе, по кислому, постному выражению оскотенного лица. Подошел, встал боком, словно осердясь, и спросил, глядя в сторону, будто и не нам говорил, стене:

– Номер, што ли?

– Номер, отец...

Он скрипуче перевернулся на подошвах и пошел, не сказав ни слова; мы догадались, что надо идти вслед. Монах достал из глубокого кармана тяжелую связку ключей, приоткрыл дверь пустой комнатки, только что насвеже выбеленной, и молвил:

– Тут!

Мы переулыбнулись, глянули внутрь – там чернела голая железная кровать: ни матраца на ней, ни белья, ни подушек, а в комнатке ни стула, ни табуретки.

– Отец?

– Чего?

– А матрац-то где?

– Какой матрац?

– То есть как же это? Спать то на чем будем?

– На кровати, – пояснил монах и невозмутимо почесал под шляпой грязную голову.

Но у нас, уставших с пути, нервы были не так покойны, как у этого святого привратника.

– Брось шутки, дядя, шутить! Даешь матрац!

– Жалуйтесь! – шикнул монашек смиренно. – Уполномоченному надо, а я что: нет и нет...

– Так номер тогда зачем сдавать?

– Жалуйтесь! – повторил он еще тише и заковылял косолапо назад по коридору.

Гостиницей заведует «отец» Авенир – косолапого монаха зовут Полиевктом. Авенир – высоченный дебелый мужчина, до седых волос сохранивший свежесть свою и красоту. Мы к нему.

– Слушайте, как же матрац?

– Жалуйтесь...

– Да что вы тут все, черт вас заешь: жалуйтесь да жалуйтесь...

– А так и есть, – молвил со змеиной кротостью Авенир, – назвались курортом, напустили народу приезжего, а сготовить всего не сумели. На себя пенять надо – мы што?

Старик злорадствовал, но отпирался недолго: матрац нашли. Больше того. Когда мы друг дружку признали «де-факто» – нашлась и подушка и даже пара стульев: великое дело эта дипломатия!

Афон – молодой курорт, только в этом году оперяться

стал. Житье в номерах – удобное, тихое и покойное. Окна распахнуты прямо в море. Море целый день и целую ночь шумит неумемным гулом, гонит в сон.

Все бы ладно, только с монахами в точку разом никак не попасть. Работают они словно бы и много, заняты накругло целый день, а все как-то нехотя, нудно это у них получается, легкости, радости нет в труде, словно и не дело делают – мочало жуют.

– Слушай, – говорю я раз Полиевкту, – как бы мне это звать ладнее тебя: товарищем звать – обидишься поди, отцом назвать – мне не с руки.

– Ни мне, ни тебе! – ответил монах. – Зови Полиевктом!

– А грубовато словно выходит? А?

– Ништо... Только «товарищем» звать не надо – какой я есть товарищ?

Я поглядел ему сочувственно в серое лицо и в самом деле понял, что звать монаха товарищем – что селезня волком.

– Так вот бы что, – говорю ему, – жил я тут четыре дня, мусору, пыли – ба! Номер убрать бы пора.

– Не буду, – мрачно резнул Полиевкт.

– Как же, совсем не будешь?

– Совсем не буду, – оттяпнул монах. – Уедешь, тогда убе-ру.

– Да мне-то тогда на что?

– Ну-к что ж: вон веник в углу.

И он указательно пальцем ткнул в угол коридора.

Впрочем, у нас с Полиевктом отношения были на ять – нас подружил лукавый случай. Стою я у двери его комнатки, заглянул в нутро, говорю:

– А хорошо, брат, в келье твоей, Полиевкт.

– Не больно хорошо, – криво усмехнулся.

– А что?

– Икон много.

Он, видимо, ждал удара от слов моих, и то мое оскорбление доставило б монаху неизъяснимую боль и наслаждение: «Терзай, мол, мучь, а я вот – терплю!»

Но я сказал другое:

– Что ж иконы: коли веришь – держи, а я вот не верю – на што мне они, даром не надо.

Как лист на ветру, встрепенулся монах, радость пробилась в глазах:

– Это ты хорошо сказал, – похвалил он громко мои слова.

Помолчал, махнул рукой и, в дверь уходя, еще раз повторил: – Оч-чень ты хорошо сказал: на что они тебе?

С тех пор Полиевкт был со мною ласков и прост в обращении. Он мне кое-что рассказал и о старых годах Афона, он мне поведал о том, как спутался разум монаший в этой неожиданной диковинной жизни.

– Что же, и мы в свои годы жили, потрудились, – вел рассказ Полиевкт, – мы даром хлеб не ели, но вся та жизнь – с краев и до дна – была иная. А теперь живешь – не живешь, будто захожий путник в чужом дому... Вроде, оно выходит,

муравейник здесь разорен, и на том месте сарай построен. Муравьи, что дым в облака – пропали. А десятка два жить тут осталось, в сарай сползли. Живут – не живут, и что им сарай пустой: сарай не муравейник. Так и мы – жизни той не веротишь, а в эту жизнь – чужие мы...

Много в миру чужого народу теперь живет. Съежился он, иззябся от крепких морозов жизни, темной пеленой глаза ему заволочло, куда идти – не видит и не знает.

Ну что же, так в мире испокон заведено: кто путь свой до предела изойдет – тому в беспутице туманной пропадать.

В Афоне народу мало. Тишина кругом – первобытная. Красота в горах – несравнимая, – такой красоты не встретишь нигде по берегу Черного моря. В Афоне, в центре совхоза, на площади – шегутится торговля: тут кооперативные лавки, тут и базарчик, торгующий ходкой снедью. Возле базара, у моря – лавчушка ютится в бывшей часовне, и в просветах стен, где черно от древних икон, гордо и бодро зовут за собой слова про абхазскую волю, про радостный труд, призывы читать «Зарю Востока», а рядом – смешная густая афиша, ее мастерили сплеча – афиша зовет на праздник:

«Состоицца буфэт... торгует лафка... Будит большая дикломация...»

Видимо, как диктовал себе в мыслях писака-горец, как шевелил словами, – так и врезал их в афишу, мало робея перед скучной грамматикой.

И вот подошло торжество. С гор собрался народ. В клубе шел туземный спектакль. Резвились на воле туземные игры. Медлительные, важные абхазцы чинно прохаживались берегом, толпились на базарной площади, толкались по аллеям. Женщин мало – почти не видать, – одеты в черное, словно в трауре. Абхазцы смуглы и стройны. Одеты в серые плотные рубашки, тонко, в рюмку стянуты ремнями, ремни повиты серебряным узором; штаны заправлены глухо в легкие сапожки, у других завиты в цветные обмотки. На головах искусно смотаны и за плечи ловко, легко перекинуты мохнатые серые башлыки. У пояса острый зоркий кинжал, за поясом черный зловещий револьвер. Гулянье сжалось на узких зеленых прудах, у самого берега моря; рассыпались малые кучки по склонам горы, в кипарисных аллеях, заползли по крутому шоссе, по тропинкам туда, где стоит монастырь, где гигантские тянутся ввысь корпуса для наезжих больных – это бывшие кельи-норы монашьи и жилье высоких особ, монастырских чинов.

Праздники любят бутылки вина, южные праздники любят вино в бочонках. Северный пьяница хмелен стаканами, горец ведром только щекочет свой хмель: горцу вино что крестьянину квас. И ныне, на празднестве, попито много, но хмель не берет, только в туманах пропали глаза. Негромкие кучки сидят по траве, под звон инструментов – и звонких и грустных, как горные речки, что путь пробивают в чашах, – горцы поют любимые песни. И песни те столь же прекрасны

и стройны, как этот зеленый покров на горах, как этот сиреневый неба простор, как сам монастырь, белогривый красавец, что сказочным скоком мчался в горах и вдруг во мгновение остыл в скаку и замер навеки над сонным бескрайним покоем. Тихо по склонам, тихо и в море – море сковал глубокий штиль.

Высохли хрустко на жарком морском берегу густые зеленые мхи – их со дна во время прибоя гонит на берег волна.

Высохли алые, черно-смолевые, желтые, белые камешки пляжа – их не достанет море, когда успокоит его в летаргической зыби тяжелый штиль. Тишь кругом. И говор людской, и горные песни, и спящее море в песне баючной – тонко звенят умирающим рокотом. На серебряную нежную морскую грудь, на тулупы зеленые вечных лесов, по горам, по влажному низовью – мягко и плавно, как птица в гнездо, опускаются в звонах и шелестах вечерние сумерки.

На заре, морозким холодком, любо взбираться на Иверскую гору. Иверская вышка – владычица кругом, царит она над афонским простором.

Крут и труден путь – легок отдых на вершине. Иверскую вершину венчает древняя башня – седая старина от римских веков. Бродим мы в развалинах храма, щупаем, шарим замшелые стены, дышим далеким быльем, уходим памятью к тем временам, о которых остались одни вековые преданья. Вот и проталины серого камня – здесь крылись когда-то иконы, вот башня, где воины жили, подвал, где хранилось ору-

жие, а вот – за стеклом – повалена гряда костей. И над теми костями краткая запись:

Любовию просим Вас —
Посмотрите вы на нас:
Мы были как вы,
И вы будете как мы.

Эти надписи сделали, верно, монахи, этим словам недолго век. Но дышат глубочайшей стариной каменные плиты, гигантские камни осевших стен, колонны и вышки, откуда бессонный глаз схватывал зорко окрестности. В этой глуши семнадцать лет живет отшельник монах Сомон. Живет один – со своими молитвами, кормится овощью да изредка спускается с гор к греческим поселкам, добывает там кукурузу, печет из нее лепешки. Жили с ним раньше другие монахи, ушли – остался Сомон один. Когда приходят к развалинам крепости, к древнему храму путники, Сомон их водит по мертвым владеньям, повествует смиренно святыи и безгрешные сказки. Потом на огне сготовит чай, накормит путников кукурузными лепешками. В свободные от молитв часы он ходит по окрестным лесам, собирает ягоды, грибы. Во время походов встречался не раз с медведями, ланями, видел волков, диких коз, кабанов – встречи сходили счастливо, зверь уходил прочь.

– А как же, – говорим, – коли хворать приходилось: как одному тогда?

– Хворать? А я никогда не хворал: семнадцать годов тут живу и болезней не знаю. Разве что утром недужно – так к вечеру встал, в этом и вся болезнь. Тут воздух чистый и легкий – с чего мне хворать?

Сомону полсотни лет. Он крепок и свеж, как буквый криж, – видно, что веку хватит ему на целую сотню. Теперь затеял Сомон новое дело – рубит в лесу кизил, строгают тонкие палки, эти палки он продает проходящим путникам. На кизиловое дело Сомо-на толкнул горестный случай: на гору вдруг взобрались два ловкача, открыли там близ развалин пьяный притон, сами взялись водить проходящих по храму, в развалинах башни – и спяна городят бог знает что о древних римских веках.

Шинкарщики сбили Сомону работу, отняли последнюю мзду, что он добывал на чаю, на рассказах вольных о древних веках, – так зачался для Сомона новый, кизиловый век.

Мы забрались на башенную вышку – там открывался бескрайный простор, взор терял горизонты.

Чернели, серели, синели горные хребты, за ними, не видима взору, крылась хлебная Кубань; по берегу морскому млечными точками мерещат дальние города; в погожие дни, рассказывал Сомон, видны Сухум и Батум, из кружев зеленых чуть проступает бледная тень Трапезунда.

Леса и леса, кругом леса, склеились они по мохнатым горам в густую зеленую пену. Море словно смолой залито – черным и тяжким грузом припало к земле. Не оценит глаз

простора кругом: небо, море, горы и леса – крепко слились без концов и начал. Дремлет природа, как в сказке богатырь, нижет сквозь сон невнятную речь, ровно и легко дышит крутой, высокой грудью.

[1925]

Примечания

Морские берега. – Написано в 1925 году. За исключением «Мацесты», все очерки имеют авторскую датировку: «Отдых» – 16 августа 1925 г., «Адлер» – 3 сентября 1925 г., «Гагры» – 6 сентября 1925 г., «Батум» – 18 сентября 1925 г., «Новый Афон» – 21 сентября 1925 г. Некоторые из них вскоре после написания публиковались в газете «Известия»: «На отдых (Путевые наброски). 1. В вагоне» – 1925, № 191, 23 августа; «На отдых (Путевые наброски). 2. Через Украину, Дон и Кубань» – 1925, № 195, 28 августа; «Мацеста» – 1925, № 214, 19 сентября; «Адлер» – 1925, № 234, 13 октября. В том же году в № 10 журнала «Октябрь» напечатан очерк «Новый Афон». Полностью цикл очерков, переработанный и подготовленный автором (в частности, им были изменены названия и содержание некоторых из них), был опубликован издательством «Молодая гвардия» в 1926 году.

Очерки созданы после пребывания Фурманова на юге, на Кавказском побережье, летом 1925 года (июнь – июль). Как всегда, писатель не расставался с дневником и заносил в него свои свежие впечатления. Работая над очерками, Фурманов делает основательный отбор фактов, чтобы выявить наиболее существенное в изображаемых явлениях. На первый план он выдвигает приметы нового, людей труда. Очерки Фурманов обрабатывал особенно старательно, неоднократно

их исправлял. «Я на этих очерках пробовал себя, – заявляет писатель. – И увидел, что могу, что ушел вперед, вырос»¹.

А. М. Горький, прочитав книгу «Морские берега», присланную ему в Сорренто А. Н. Фурмановой, дал очеркам высокую оценку.

«Сердечно благодарю Вас за присланную книжку, – писал он жене писателя 23 апреля 1926 года. – Она заметно отличается от первых книг Вашего друга и мужа; отличается и простотою фразы, и экономией слов, и точным знанием границ того, что автор хочет рассказать читателю»².

Печатается по тексту издания «Молодая гвардия» (1926).

¹ Архив ИМЛИ, П-62, 1581.

² М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, т. 29, Гослитиздат, М. 1955, стр. 463.